

Даниэль Дефо

Робинзон Крузо



Робинзон Крузо

Даниэль Дефо

Робинзон Крузо

«Public Domain»

1719

Дефо Д.

Робинзон Крузо / Д. Дефо — «Public Domain»,
1719 — (Робинзон Крузо)

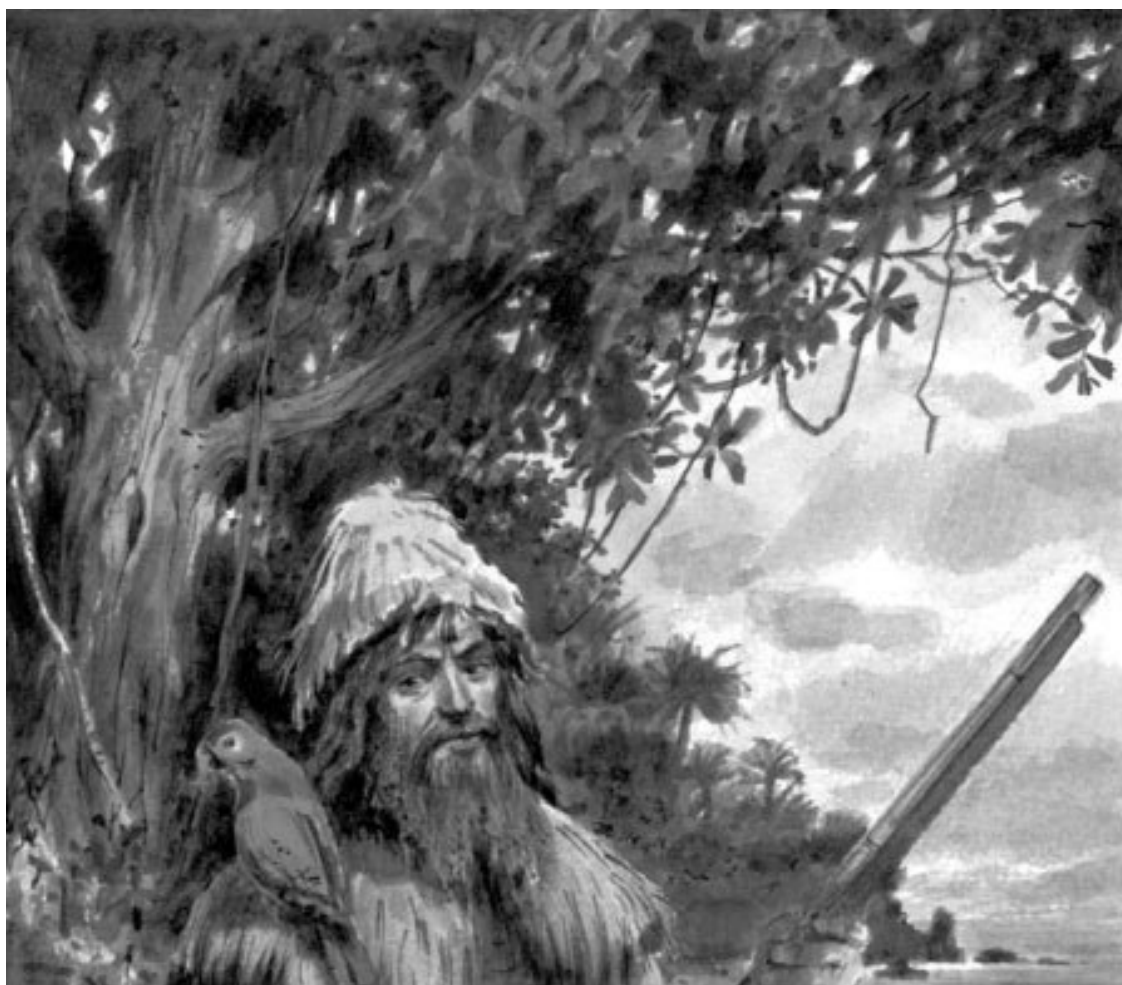
История жизни Робинзона на необитаемом острове – повествование о мужественном и находчивом человеке, который сумел выжить и не одичать благодаря своему сильному духу и трудолюбию.

Содержание

Предисловие	6
Конец ознакомительного фрагмента.	25

**Даниэль Дефо
Жизнь, необыкновенные и
удивительные приключения
РОБИНЗОНА КРУЗО,
моряка из Йорка, прожившего двадцать
восемь лет в полном одиночестве на
необитаемом острове, у берегов Америки,
близ устья великой реки Ориноко, куда
он был выброшен кораблекрушением,
во время которого весь экипаж корабля,
кроме него, погиб, с изложением
его неожиданного освобождения
пиратами. Написано им самим**

Предисловие



Если существует на свете история приключений частного лица, заслуживающая стать всеобщим достоянием и быть повсеместно тепло принятой после ее публикации, то, как полагает издатель, такова именно эта история.

Чудесные приключения ее героя превосходят – издатель уверен в этом – все когда-либо описанные и дошедшие до нас; трудно представить себе, что жизнь одного человека может вместить такое разнообразие событий.

История рассказана просто, серьезно, с религиозным осмыслением происходящего, которым всегда могут воспользоваться люди умные, а именно – пояснить на примере сюжета мудрость и благодать Провидения, проявляющиеся в самых разных обстоятельствах человеческой жизни.

Издатель убежден, что это повествование – лишь строгое изложение фактов, в нем нет ни тени вымысла. Более того, он должен сказать (ибо о таких вещах есть разные мнения), что дальнейшие улучшения, будь то для развлечения или для наставления читателей, только испортили бы эту историю.

Итак, не заискивая более внимания света, издатель публикует эту повесть такой, какая она есть, полагая, что тем самым оказывает большую услугу читателям.

* * *

Я родился в 1632 году в городе Йорке в почтенной семье, хотя и не коренного происхождения: мой отец приехал из Бремена и поначалу обосновался в Гулле. Нажив торговлей хорошее состояние, он оставил дела и переселился в Йорк. Здесь он женился на моей матери, которая принадлежала к старинному роду, носившему фамилию Робинзон. Мне дали имя Робинзон, отцовскую же фамилию Крейцнер англичане, по обычаю своему коверкать иностранные слова, переделали в Крузо. Со временем мы и сами стали называть себя и подписываться Крузо; так же всегда звали меня и мои знакомые.

У меня было два старших брата. Один служил во Фландрии, в английском пехотном полку, том самом, которым когда-то командовал знаменитый полковник Локхарт; брат дослужился до чина подполковника и был убит в сражении с испанцами под Дюнкерком. Что случилось со вторым моим братом – не знаю, как не знали отец и мать, что случилось со мной.

Так как в семье я был третьим сыном, то меня не собирались пускать по торговой части, и голова моя с юных лет была набита всякими бреднями. Отец мой, находясь уже в преклонном возрасте, позаботился, чтобы я получил вполне сносное образование в той мере, в какой его могли дать домашнее воспитание и бесплатная городская школа. Он прочил меня в юристы, но я мечтал о морских путешествиях и слышать не хотел ни о чем другом. Эта страсть моя к морю оказалась столь сильна, что я пошел против воли отца, – более того, против его запретов, – и пренебрег уговорами и мольбами матери и друзей; казалось, было что-то роковое в этом природном влечении, толкавшем меня к злоключениям, которые выпали мне на долю.

Отец мой, человек степенный и умный, догадываясь о моих намерениях, предостерег меня серьезно и основательно. Прикованный подагрой к постели, он позвал меня однажды утром в свою комнату и с жаром принялся увещевать. Какие другие причины, спросил он, кроме склонности к бродяжничеству, могут быть у меня для того, чтобы покинуть отчий дом и родную страну, где я могу прилежанием и трудом увеличить свой достаток и жить в довольстве и с приятностью? Отчизну покидают в погоне за приключениями, сказал он, либо те, кому нечего терять, либо честолюбцы, жаждущие достичь еще большего; одни пускаются в предприятия, выходящие из рамок обыденной жизни, ради наживы, другие – ради славы; но подобные цели для меня или недоступны, или недостойны; мой удел – середина, то есть то, что можно назвать высшею ступенью скромного существования, а оно, как он убедился на многолетнем

опыте, лучше всякого другого на свете и более всего для счастья приспособлено, ибо человека не гнетут нужда и лишения, тяжкий труд и страдания, выпадающие на долю низших классов, и не сбивают с толку роскошь, честолюбие, чванство и зависть высших классов. Насколько приятна такая жизнь, сказал он, можно судить хотя бы по тому, что все остальные ей завидуют: ведь и короли нередко жалуются на горькую участь людей, рожденных для великих дел, и сетуют, что судьба не поставила их между двумя крайностями – ничтожеством и величием, и даже мудрец, который молил небо не посылать ему ни бедности, ни богатства, тем самым свидетельствовал, что золотая середина есть пример истинного счастья.

Стоит только понаблюдать, уверял меня отец, и я пойму, что все жизненные невзгоды распределены между высшими и низшими классами и что реже всего их терпят люди умеренного достатка, не подверженные стольким превратностям судьбы, как высшие и низшие круги человеческого общества; даже от недугов, телесных и душевных, они защищены больше, чем те, у кого болезни порождаются либо пороками, роскошью и всякого рода излишествами, либо изнурительным трудом, нуждой, скудной и дурной пищей, и все их недуги не что иное, как естественные последствия образа жизни. Среднее положение в обществе наиболее благоприятствует расцвету всех добродетелей и всех радостей бытия: мир и довольство – слуги его; умеренность, воздержанность, здоровье, спокойствие духа, общительность, всевозможные приятные развлечения, всевозможные удовольствия – его благословенные спутники. Человек среднего достатка проходит свой жизненный путь тихо и безмятежно, не обременяя себя ни физическим, ни умственным непосильным трудом, не продаваясь в рабство из-за куска хлеба, не мучаясь поисками выхода из запутанных положений, которые лишают тело сна, а душу – покоя, не страдая от зависти, не сгорая втайне огнем честолюбия. Привольно и легко скользит он по жизни, разумным образом вкушая сладости бытия, не оставляющие горького осадка, чувствуя, что он счастлив, и с каждым днем постигая это все яснее и глубже.

Затем отец настойчиво и чрезвычайно ласково стал упрашивать меня не ребячиться, не бросаться очертя голову навстречу бедствиям, от которых сама природа и условия жизни, казалось, должны меня оградить. Ведь я не поставлен в необходимость работать из-за куска хлеба, а он приложит все старания, чтобы вывести меня на ту дорогу, которую советует мне избрать; если же я окажусь неудачником или несчастным, то мне придется пенять лишь на злой рок или на собственные оплошности, так как он предостерег меня от шага, который не принесет мне ничего, кроме вреда, и, исполнив таким образом свой долг, слагает с себя всякую ответственность; словом, если я останусь дома и устрою свою жизнь согласно его указаниям, он будет мне заботливым отцом, но ни в коем случае не станет способствовать моей гибели, поощряя к отъезду. В заключение он привел в пример моего старшего брата, которого он так же настойчиво убеждал не принимать участия в нидерландской войне, но все уговоры оказались напрасными: юношеские мечтания заставили моего брата бежать в армию, и он погиб. И хотя, закончил отец, он никогда не перестанет молиться обо мне, но берется утверждать, что, если я не откажусь от своих безумных намерений, на мне не будет благословения Божия. Придет время, когда я пожалею, что пренебрег его советом, но тогда, может статься, некому будет прийти мне на выручку.



Я видел, как в конце этой речи (она была поистине пророческой, хотя, я думаю, отец мой и сам этого не подозревал) обильные слезы заструились по лицу старика, особенно когда он заговорил о моем убитом брате; а когда батюшка сказал, что придет время раскаяния, но помочь мне уже будет некому, то от волнения голос его дрогнул, и он прошептал, что сердце его разрывается и он не может больше вымолвить ни слова.

Я был искренне растроган этой речью (да и кого бы она не тронула?) и твердо решил не думать более об отъезде в чужие края, а остаться на родине, как того желал мой отец. Но увы! Через несколько дней от моей решимости не осталось и следа: короче говоря, через несколько недель после моего разговора с отцом я во избежание новых отцовских увещаний решил бежать из дому тайком. Я сдержал пыл своего нетерпения и действовал не спеша: выбрав время, когда моя мать, как мне показалось, была в более добром расположении духа, чем обычно, я отвел ее в уголок и признался, что все мои помыслы подчинены желанию повидать далекие края, и что, если даже я и займусь каким-либо делом, у меня все равно не хватит терпения довести его до конца, и что пусть лучше отец отпустит меня добровольно, иначе я буду вынужден обойтись без его разрешения. Мне уже восемнадцать лет, сказал я, а в эти годы поздно учиться ремеслу, и если бы даже я поступил писцом к стряпчему, то знаю наперед – я убежал бы от своего патрона, не дотянув до конца обучения, и ушел в море. Но если бы матушка уговорила отца хоть единожды отпустить меня в морское путешествие; ежели жизнь

в море придется мне не по душе, я вернусь домой и не уеду более; и я могу дать слово, что удвоенным прилежанием наверстаю потерянное время.

Мои слова сильно разволновали матушку. Она сказала, что заговаривать с отцом об этом бесполезно, ибо он слишком хорошо понимает, в чем моя польза, и никогда не даст согласия на то, что послужит мне во вред. Она просто изумлена, что я еще могу думать о подобных вещах после моего разговора с отцом, который убеждал меня так мягко и с такой добротой. Конечно, если я твердо решил себя погубить, тут уже ничего не поделаешь, но я могу быть уверен, что ни она, ни отец никогда не согласятся на мою затею; сама же она нисколько не желает содействовать моей гибели, и я никогда не буду вправе сказать, что моя мать потакала мне, в то время как отец был против.

Впоследствии я узнал, что хотя матушка и отказалась ходатайствовать за меня перед отцом, однако передала ему наш разговор от слова до слова. Очень озабоченный таким оборотом дела, отец сказал ей со вздохом: «Мальчик мог бы жить счастливо, оставшись на родине, но если он пустится в чужие края, он станет самым жалким, самым несчастным существом на свете. Нет, я не могу на это согласиться».

Прошел без малого год, прежде чем мне удалось вырваться на волю. В течение этого времени я упорно оставался глух ко всем предложениям заняться делом и часто пререкался с отцом и матерью, которые решительно противились тому, к чему меня столь сильно влекло. Однажды, когда я находился в Гулле, куда я попал случайно, без всякой мысли о побеге, один мой приятель, отправлявшийся в Лондон на корабле своего отца, стал уговаривать меня ехать с ним, соблазняя, как это водится у моряков, тем, что мне ничего не будет стоить проезд. И вот, не спросившись ни у отца, ни у матери, не уведомив их ни словом и предоставив им узнать об этом как придется, не испросив ни родительского, ни Божьего благословения, не принимая в расчет ни обстоятельств, ни последствий, в недобрый – видит Бог! – час, 1 сентября 1651 года, я взошел на борт корабля, отправлявшегося в Лондон. Надо полагать, никогда несчастья и беды молодых искателей приключений не начинались так рано и не продолжались так долго, как мои. Не успел наш корабль выйти из устья Хамбера, как подул ветер, вздымая огромные, страшные волны. До тех пор я никогда не бывал в море и не могу описать, как худо пришлось моему бедному телу и как содрогалась от страха моя душа. И только тогда я всерьез задумался о том, что я натворил, и о справедливости небесной кары, постигшей меня за то, что я так бессовестно покинул отчий дом и нарушил сыновний долг. Все добрые советы моих родителей, слезы отца и мольбы матери воскресли в моей памяти, и совесть, которая в то время еще не успела окончательно очерстветь, терзала меня за пренебрежение к родительским увещаниям и за нарушение обязанностей перед Богом и отцом.

Между тем ветер крепчал, и на море разыгралась буря, которая, впрочем, не шла в сравнение с теми, что я много раз видел потом, ни даже с той, что мне пришлось увидеть несколько дней спустя. Но и этого было довольно, чтобы ошеломить меня, новичка, ничего не смыслившего в морском деле. Когда накатывалась новая волна, я ожидал, что она нас поглотит, и всякий раз, когда корабль падал вниз, как мне казалось, в пучину или бездну морскую, я был уверен, что он уже больше не поднимется на поверхность. И в этой муке душевной я неоднократно решался и давал себе клятвы, что, если Господу будет угодно сохранить на сей раз мне жизнь, если нога моя снова ступит на твердую землю, я тотчас же вернусь домой к отцу и, покуда жив, не сяду на корабль, что я последую отцовским советам и никогда более не подвергну себя подобной опасности. Теперь я понял всю справедливость рассуждений отца относительно золотой середины; для меня ясно стало, как мирно и приятно прожил он всю жизнь, никогда не подвергая себя бурям на море и невзгодам на суше, – словом, я, как некогда блудный сын, решил вернуться в родительский дом с покаянием.

Эти трезвые и благоразумные мысли не оставляли меня, покуда длилась буря, и даже некоторое время после нее; но на другое утро ветер стал стихать, волнение поулеглось, и я

начал понемногу осваиваться с морем. Как бы то ни было, весь этот день я был настроен очень серьезно (тем более что еще не совсем оправился от морской болезни); но перед закатом небо прояснилось, ветер прекратился, и наступил тихий, очаровательный вечер; солнце зашло без туч и такое же ясное встало на другой день, и гладь морская при полном или почти полном безветрии, вся облитая его сиянием, представляла восхитительную картину, какой я никогда еще не видывал.



Ночью я отлично выспался, от моей морской болезни не осталось и следа, я был бодр и весел и любовался морем, которое еще вчера так бушевало и грохотало и в такое короткое время могло затихнуть и явить собою столь привлекательное зрелище. И тут-то, словно для того чтобы изменить мое благоразумное решение, ко мне подошел приятель, сманивший меня ехать с ним, и, хлопнув меня по плечу, сказал: «Ну что, Боб, как ты себя чувствуешь после вчерашнего? Бьюсь об заклад, что ты испугался, – признавайся, ведь испугался вчера, когда задул ветерок?» – «Ветерок? Хорош ветерок! Я и представить себе не мог такой ужасной бури!» – «Бури! Ах ты, чудак! Так, по-твоему, это буря? Что ты! Это сущие пустяки! Дай нам хорошее судно да побольше простору, – мы такого шквалика и не заметим. Ну, да ты еще совсем неопытный моряк, Боб. Пойдем-ка лучше сварим пуншу и забудем об этом. Взгляни, какой чудесный нынче день!» Чтoб сократить эту грустную часть моей повести, скажу, что дальше пошло, как положено у моряков: сварили пунш, я порядком охмелел и потопил в разгуле той ночи все мое раскаяние, все размышления о прошлом моем поведении и все мои благие решения относительно будущего. Словом, как только на море воцарилась тишь, как только вместе с бурей улеглись мои взбудораженные чувства и прошел страх утонуть в морской пучине, так мысли мои повернули в прежнее русло, и все клятвы, все обещания, которые я давал себе в часы страданий, были позабыты. Правда, порой на меня находило просветление, здравые мысли еще пытались, так сказать, воротиться ко мне, но я гнал их прочь, боролся с ними, словно с приступами болезни, и при помощи пьянства и веселой компании скоро восторжествовал над этими припадками, как я их называл: в какие-нибудь пять-шесть дней я одержал столь полную

победу над своей совестью, какой только может пожелать себе юнец, решившийся не обращаться на нее внимания. Однако меня ждало еще одно испытание: как всегда в подобных случаях, Провидение пожелало отнять у меня последнее оправдание перед самим собою; в самом деле, если на этот раз я не захотел понять, что всецело обязан ему, то следующее испытание было такого рода, что тут уж и самый последний, самый отпетый негодяй из нашего экипажа не мог бы не признать, что опасность была поистине велика и спаслись мы только чудом.

На шестой день по выходе в море мы пришли на Ярмутский рейд. Ветер после шторма был все время неблагоприятный и слабый, так что после шторма мы двигались еле-еле. Здесь мы были вынуждены бросить якорь и простояли при юго-западном, то есть противном, ветре семь или восемь дней. В течение этого времени на рейд пришло немалое количество судов из Ньюкасла, ибо Ярмутский рейд обычно служит местом стоянки для кораблей, которые дожидаются здесь попутного ветра, чтобы войти в реку.

Впрочем, мы не простояли бы долго и вошли бы в реку с приливом, если бы ветер не был так свеж, а дней через пять не укрепчал еще больше. Однако Ярмутский рейд считается такой же хорошей стоянкой, как и гавань, а якоря и якорные канаты были у нас надежные; поэтому наши люди ничуть не тревожились и даже не помышляли об опасности – по обычаю моряков, они делили свой досуг между отдыхом и развлечениями. Но на восьмой день утром ветер усилился, и пришлось свистать наверх всех матросов, убрать стеньги и плотно закрепить все, что нужно, чтобы судно могло безопасно держаться на рейде. К полудню на море началось большое волнение, корабль стало сильно раскачивать; он несколько раз зачерпнул бортом, и два раза нам показалось, что нас сорвало с якоря. Тогда капитан скомандовал отдать запасной якорь. Таким образом, мы держались на двух якорях против ветра, вытравив канаты до конца.

Тем временем разыгрался жесточайший шторм. Растерянность и страх были теперь даже на лицах матросов. Я несколько раз слышал, как сам капитан, проходя мимо меня из своей каюты, бормотал вполголоса: «Господи, смилуйся над нами, иначе мы погибли, всем нам конец», – что не мешало ему, однако, зорко наблюдать за работами по спасению корабля. Поначалу на всю эту суматоху я взирал в оцепенении, неподвижно лежа в своей каюте рядом со штурвалом, и даже не знаю хорошенько, что я чувствовал. Мне было трудно вернуть прежнее покаянное настроение после того, как я сам его презрел и ожесточил свою душу; мне казалось, что смертный ужас раз и навсегда миновал и что эта буря пройдет бесследно, как и первая. Но, повторяю, когда сам капитан, проходя мимо, обмолвился о грозящей нам гибели, я неимоверно испугался. Я выбежал из каюты на палубу; никогда в жизни не приходилось мне видеть такой зловещей картины: на море вздымались валы вышиной с гору, и такая гора опрокидывалась на нас каждые три-четыре минуты. Когда, собравшись с духом, я огляделся вокруг, то увидел тяжкие бедствия. На двух тяжело нагруженных судах, стоявших неподалеку от нас на якоре, были обрублены все мачты. Кто-то из наших матросов крикнул, что корабль, стоявший в полумиле от нас впереди, пошел ко дну. Еще два судна сорвало с якорей и унесло в открытое море на произвол судьбы, ибо ни на том, ни на другом не оставалось ни одной мачты. Мелкие суда держались лучше других – им было легче маневрировать; но два или три из них тоже унесло в море, и они промчались борт о борт мимо нас, убрав все паруса, кроме одного кормового кливера.

В конце дня штурман и боцман стали упрашивать капитана позволить им срубить фок-мачту. Капитан долго упирался, но боцман принялся доказывать, что, если фок-мачту оставить, судно непременно затонет, и он согласился, а когда снесли фок-мачту, грот-мачта начала так шататься и так сильно раскачивать судно, что пришлось снести и ее и таким образом освободить палубу.

Судите сами, что должен был испытывать все это время я – юнец и новичок, незадолго перед тем испугавшийся небольшого волнения. Но если после стольких лет память меня не обманывает, не смерть была мне страшна тогда; во сто крат сильнее ужасала меня мысль о

том, что я изменил своему решению прийти с повинной к отцу и вернулся к прежним химерическим стремлениям, и мысли эти, усугубленные ужасом перед бурей, приводили меня в состояние, которого не передать никакими словами. Но самое худшее было еще впереди. Буря продолжала свирепствовать с такой силой, что, по признанию самих моряков, им никогда не случалось видеть подобной. Судно у нас было крепкое, но от тяжелого груза глубоко сидело в воде, и его так качало, что на палубе поминутно слышалось: «Кренит! Дело – табак!» Пожалуй, для меня было даже к лучшему, что я не вполне понимал значение этих слов, пока не попросил объяснить их. Однако буря бушевала все яростнее, и я увидел – а это нечасто видишь, – как капитан, боцман и еще несколько человек, более разумных, чем остальные, молились, ожидая, что корабль вот-вот пойдет ко дну. В довершение ко всему вдруг среди ночи один из матросов, спустившись в трюм поглядеть, все ли там в порядке, закричал, что судно дало течь; другой посланный донес, что вода поднялась уже на четыре фута. Тогда раздалась команда: «Все к насосам!» Когда я услышал эти слова, у меня замерло сердце, и я упал навзничь на койку, где я сидел. Но матросы растолкали меня, заявив, что если до сих пор я был бесполезен, то теперь могу работать, как и всякий другой. Тогда я встал, подошел к насосу и усердно принялся качать. В это время несколько мелких судов, груженных углем, будучи не в состоянии выстоять против ветра, снялись с якоря и вышли в море. Когда они проходили мимо, наш капитан приказал подать сигнал бедствия, то есть выстрелить из пушки. Не понимая, что это значит, я пришел в ужас, вообразив, что судно наше разбилось или случилось нечто другое, не менее страшное, и потрясение было так сильно, что я упал в обморок. Но в такую минуту каждому было впору заботиться лишь о спасении собственной жизни, и никто на меня не обратил внимания и не поинтересовался, что приключилось со мной. Другой матрос, оттолкнув меня ногой, стал к насосу на мое место в полной уверенности, что я уже мертв; прошло немало времени, пока я очнулся.

Работа шла полным ходом, но вода в трюме поднималась все выше. Было очевидно, что корабль затонет, и хотя буря начинала понемногу стихать, однако нечего было и надеяться, что он сможет продержаться на воде, покуда мы войдем в гавань, и капитан продолжал палить из пушек, взывая о помощи. Наконец одно легкое суденышко, стоявшее впереди нас, отважилось спустить шлюпку, чтобы подать нам помощь. Подвергаясь немалой опасности, шлюпка приблизилась к нам, но ни мы не могли добраться до нее, ни шлюпка не могла причалить к нашему кораблю, хотя люди гребли изо всех сил, рискуя своей жизнью ради спасения нашей. Наконец наши матросы бросили им с кормы канат с буйком, вытравив его на большую длину. После долгих и тщетных усилий гребцам удалось поймать конец каната; мы притянули их под корму и все до одного спустились в шлюпку. О том, чтобы добраться до их судна, нечего было и думать; поэтому мы единодушно решили грести по ветру, стараясь только держаться по возможности к берегу. Наш капитан пообещал чужим матросам, что в случае, если лодка разобьется о берег, он заплатит за нее хозяину. И вот, частью на веслах, частью подгоняемые ветром, мы направились к северу в сторону Уинтертон-Несса, постепенно приближаясь к земле.

Не прошло и четверти часа с той минуты, когда мы отчалили от корабля, как он стал погружаться на наших глазах. И тут-то впервые я понял, что значит «дело – табак». Должен, однако, сознаться, что, услышав крики матросов: «Корабль тонет!» – я почти не имел силы взглянуть на него, ибо с тех пор, как я сошел или, вернее, когда меня сняли в лодку, во мне словно все оцепенело от смятения и страха, а также от мысли о том, что еще ждет меня впереди.

Покуда люди изо всех сил налегали на весла, чтобы направить лодку к берегу, мы могли видеть (ибо всякий раз, как лодку вздымало волной, нам виден был берег), что там собралась большая толпа: все суеились и бегали, готовясь подать нам помощь, когда мы подойдем ближе. Но мы двигались очень медленно и добрались до земли, только пройдя Уинтертонский маяк там, где между Уинтертоном и Кромером береговая линия изгибается к западу и где поэтому ее выступы немного умеряли силу ветра. Здесь мы пристали и, с великим трудом, но все-таки

благополучно выбравшись на сушу, пошли пешком в Ярмут, где нас, как потерпевших крушение, встретили с большим участием; городской магистр отвел нам хорошие помещения, а местные купцы и судохозяева снабдили нас деньгами в достаточном количестве, чтобы добраться по нашему выбору либо до Лондона, либо до Гулль.

Вернись я тогда обратно в Гуль, в родительский дом, как был бы я счастлив! И отец на радостях, как в евангельской притче, даже заколол бы для меня откормленного тельца: ведь он знал только, что корабль, на котором я ушел в море, затонул на Ярмутском рейде, а о моем спасении ему стало известно лишь значительно позднее.

Но моя злая судьба толкала меня все на тот же гибельный путь с упорством, которому невозможно было противиться; и хотя в моей душе неоднократно раздавался трезвый голос рассудка, звавший меня вернуться домой, у меня не хватило для этого сил. Не знаю, как это назвать, и не стану настаивать, но какое-то тайное веление всесильного рока побуждает нас быть орудием собственной своей гибели, даже когда мы видим ее перед собой, и бросаться ей навстречу с открытыми глазами, но несомненно, что только моя злая судьба, которой я был не в силах избежать, заставила меня пойти наперекор трезвым доводам и внушениям лучшей части моего существа и пренебречь двумя столь наглядными уроками, которые я получил при первой же попытке вступить на новый путь.

Сын нашего судохозяина, мой приятель, помогший мне укрепиться в пагубном решении, присмирел теперь больше меня; в первый раз, как он заговорил со мной в Ярмуте (что случилось только через два или три дня, так как в этом городе мы все жили порознь), я заметил, что тон его изменился. С унылым видом он покачал головой и спросил, как я себя чувствую. Объяснив своему отцу, кто я такой, он рассказал, что я предпринял эту поездку в виде опыта, в будущем же намереваюсь объездить весь свет. Тогда его отец, обратившись ко мне, произнес серьезно и озабоченно:

– Молодой человек! Вам больше никогда не следует пускаться в море: случившееся с нами вы должны принять за явное и несомненное знамение, что вам не суждено быть мореплавателем.

– Почему же, сэр? – возразил я. – Разве вы тоже не будете больше плавать?

– Это другое дело, – отвечал он, – плавать – моя профессия и, следовательно, моя обязанность. Но вы-то ведь отправились в плавание ради пробы. Так вот небеса и дали вам отведать то, что вы должны ожидать, если будете упорствовать в своем решении. Быть может, именно вы принесли нам несчастье, как Иона фарсийскому кораблю... Прошу вас, – прибавил он, – объясните мне толком, кто вы такой и что побудило вас предпринять это плавание?

Тогда я рассказал ему кое-что о себе. Как только я кончил, он неожиданно разразился гневом.

– Что я такого сделал, – говорил он, – чем провинился, что этот жалкий отверженец ступил на палубу моего корабля! Никогда в жизни, даже за тысячу фунтов, не соглашусь я плавать на одном судне с тобой!

Конечно, все это было сказано в сердцах человеком, и без того уже огорченным своей потерей, и в пылу гнева он зашел дальше, чем следовало. Однако потом он говорил со мной спокойно и весьма серьезно убеждал меня не искушать на свою погибель Провидение и воротиться к отцу, ибо во всем случившемся я должен видеть перст Божий.

– Ах, молодой человек! – сказал он в заключение. – Если вы не вернетесь домой, то, верьте мне, повсюду, куда бы вы ни отправились, вас будут преследовать только несчастья и неудачи, пока не сбудутся слова вашего отца.

Вскоре после того мы расстались; мне нечего было возразить ему, и больше я его не видел. Куда он уехал из Ярмута, не знаю; у меня же было немного денег, и я отправился в Лондон по суше. И по пути туда мне не раз приходилось выдерживать борьбу с собой относительно того, какой род жизни мне избрать и воротиться ли домой или снова отправиться в плавание.

Что касается возвращения в родительский дом, то стыд заглушал самые веские доводы моего разума: мне представлялось, как надо мной будут смеяться соседи и как мне будет стыдно взглянуть не только на отца и на мать, но и на всех наших знакомых. С тех пор я часто замечал, сколь нелогична и непоследовательна человеческая природа, особенно в молодости: отвергая соображения, которыми следовало бы руководствоваться в подобных случаях, люди не стыдятся греха, а стыдятся раскаяния, не стыдятся поступков, за которые их по справедливости должно назвать безумцами, а стыдятся образумиться и жить почтенной и разумной жизнью.

Довольно долго я пребывал в нерешительности, не зная, что предпринять и какой избрать жизненный путь. Я не мог побороть нежелание вернуться домой, а тем временем воспоминание о перенесенных бедствиях мало-помалу изглаживалось из моей памяти; вместе с ним ослабевал и без того слабый голос рассудка, побуждавший меня вернуться к отцу, и кончилось тем, что я отбросил мысли о возвращении и стал мечтать о новом путешествии.

Та самая злая сила, которая побудила меня бежать из родительского дома, которая вовлекла меня в нелепую и необдуманную затею составить себе состояние, рыская по свету, и так крепко вбила мне в голову эти бредни, что я остался глух ко всем добрым советам, к увещаниям и даже к запрету отца, та самая сила, говорю я, какого бы ни была она рода, толкнула меня на несчастнейшее предприятие, какое только можно вообразить, я сел на корабль, отправлявшийся к берегам Африки, или, как попросту выражаются наши моряки, «в рейс в Гвинею».

Большим моим несчастьем было то, что, пускаясь в эти приключения, я не нанимался простым матросом: вероятно, мне пришлось бы больше работать, зато я научился бы морскому делу и со временем мог бы сделаться штурманом или если не капитаном, то его помощником. Но уж такова была моя судьба – из всех возможных путей я всегда выбирал самый худший. Так и тут: в кошельке у меня водились деньги, на мне было приличное платье, и я обычно являлся на судно в обличье джентльмена, поэтому ничего там не делал и ничему не научился.

В Лондоне мне посчастливилось сразу же попасть в хорошую компанию, что не часто случается с такими распущенными, сбившимися с пути юнцами, каким я был тогда, ибо дьявол не дремлет и немедленно расставляет им какую-нибудь ловушку. Но не так было со мной. Я познакомился с одним капитаном, который незадолго перед тем ходил к берегам Гвинеи, и, так как этот рейс был для него очень удачен, он решил еще раз отправиться туда. Ему понравилось мое общество – в то время я мог быть приятным собеседником – и, узнав, что я мечтаю повидать свет, он предложил мне ехать с ним, сказав, что мне это ничего не будет стоить, что я буду его сотрапезником и другом. Если же у меня есть возможность взять с собою в Гвинею товары, то мне, может быть, повезет, и я получу целиком всю вырученную от торговли прибыль.

Я принял предложение; завязав самые дружеские отношения с этим капитаном, человеком честным и прямодушным, я отправился с ним в путь, захватив с собой небольшой груз, на котором благодаря полной бескорыстности моего друга капитана сделал весьма выгодный оборот; по его указанию я закупил на сорок фунтов стерлингов различных побрякушек и безделок. Эти сорок фунтов я собрал с помощью моих родственников, с которыми был в переписке и которые, как я полагаю, убедили моего отца или, вернее, мать помочь мне хоть небольшой суммой в этом первом моем предприятии.

Это путешествие было, можно сказать, единственным удачным из всех моих походов, чем я обязан бескорыстием и честности моего друга капитана, под руководством которого я, кроме того, приобрел изрядные сведения в математике и навигации, научился вести корабельный журнал, делать наблюдения и вообще узнал много такого, что необходимо знать моряку. Ему доставляло удовольствие заниматься со мной, а мне – учиться. Одним словом, в этом путешествии я сделался моряком и купцом: я выручил за свой товар пять фунтов девять унций золотого песку, за который по возвращении в Лондон получил без малого триста фунтов стер-

лингвов. Эта удача преисполнила меня честолюбивыми мечтами, впоследствии довершившими мою гибель.

Но даже и в этом путешествии мне пришлось претерпеть немало невзгод, и, главное, я все время прохворал, схватив сильнейшую тропическую лихорадку вследствие чересчур жаркого климата, ибо побережье, где мы больше всего торговали, лежит между пятнадцатым градусом северной широты и экватором.

Итак, я сделался купцом и вел торговлю с Гвинеей. На мое несчастье, мой друг капитан вскоре по прибытии на родину умер, и я решил снова съездить в Гвинею самостоятельно. Я отплыл из Англии на том же самом корабле, командование которым перешло теперь к помощнику умершего капитана. Это было самое злополучное путешествие, когда-либо выпадавшее на долю человека. Правда, я взял с собою меньше ста фунтов из нажитого капитала, а остальные двести фунтов отдал на хранение вдове моего покойного друга, распорядившейся ими весьма добросовестно; но зато меня постигли во время пути страшные беды. Началось с того, что однажды, на рассвете, наше судно, державшее курс на Канарские острова или, вернее, между Канарскими островами и Африканским материком, было застигнуто врасплох турецким пиратом из Сале, который погнался за нами на всех парусах. Мы тоже подняли все паруса, какие могли выдержать наши реи и мачты, но, видя, что пират нас настигает и неминуемо догонит через несколько часов, мы приготовились к бою (у нас было двенадцать пушек, а у него восемнадцать). Около трех пополудни он нас нагнал, но по ошибке, вместо того чтобы подойти к нам с кормы, как он намеревался, подошел с борта. Мы навели на пиратское судно восемь пушек и дали по нему залп; тогда оно отошло немного подальше, предварительно ответив на наш огонь не только пушечным, но и ружейным залпом из двух сотен ружей, так как на этом судне было человек двести. Впрочем, у нас никто не пострадал: все наши люди держались дружно. Затем пират приготовился к новому нападению, а мы – к новой обороне. Подойдя на этот раз с другого борта, он взял нас на абордаж: человек шестьдесят ворвались к нам на палубу, и все первым делом бросились рубить снасти. Мы встретили их ружейной пальбой, забросали дробитками, подожженными ящиками с порохом и дважды изгоняли их с нашей палубы. Тем не менее корабль наш был приведен в негодность, трое наших людей было убито, а восемь ранено, и в конце концов (я сокращаю эту печальную часть моего повествования) мы вынуждены были сдаться, и нас отвезли в качестве пленников в Сале, морской порт, принадлежащий маврам.

Обращались со мной не так плохо, как я ожидал поначалу. Меня не увели, как остальных, в глубь страны, ко двору султана: капитан разбойничьего корабля удержал меня в качестве невольника, так как я был молод, проворен и мог ему пригодиться. Этот разительный поворот судьбы, превративший меня из купца в жалкого раба, был совершенно ошеломителен; тут-то мне вспомнились пророческие слова моего отца о том, что придет время, когда некому будет выручить меня из беды, слова, которые, думалось мне, сбылись сейчас, когда десница Божия покарала меня и я погиб безвозвратно. Но увы! То была лишь бледная тень тяжелых испытаний, через которые мне предстояло пройти, как покажет продолжение моего рассказа.

Так как мой новый хозяин, или, точнее, господин, взял меня к себе в дом, то я надеялся, что он захватит с собой меня и в следующее плавание. Я был уверен, что рано или поздно его настигнет какой-нибудь испанский или португальский корабль, и тогда мне будет возвращена свобода. Но надежда моя скоро рассеялась, ибо, выйдя в море, он оставил меня присматривать за его садиком и исполнять всю черную работу, возлагаемую на рабов; по возвращении же из похода он приказал мне жить в каюте и присматривать за судном.

С того дня я ни о чем не думал, кроме побега, но какие бы способы я ни измышлял, ни один из них не сулил даже малейшей надежды на успех. Да и трудно было предположить вероятность успеха в подобном предприятии, ибо мне некому было довериться, не у кого искать помощи – здесь не было ни одного невольника-англичанина, ирландца или шотландца, я был

совершенно одинок; так что целых два года (хотя в течение этого времени я часто тешился мечтами о свободе) у меня не было и тени надежды на осуществление моего плана.

Но по прошествии двух лет представился один необыкновенный случай, ожививший в моей душе давнишнюю мысль о побеге, и я вновь решил сделать попытку вырваться на волю. Как-то мой хозяин дольше обыкновенного находился дома и не готовил свой корабль к отплытию (у него, как я слышал, не хватало денег). Постоянно, раз или два в неделю, а в хорошую погоду и чаще, он выходил на корабельном полубаркасе на взморье ловить рыбу. В каждую такую поездку он брал гребцами меня и молоденького мавра, и мы увеселяли его по мере сил. А так как я к тому же оказался весьма искусным рыболовом, то иногда он посылал за рыбой меня с мальчиком – Мареско, как они называли его, – под присмотром одного взрослого мавра, своего родственника.

Однажды мы вышли на ловлю в тихое, ясное утро, но, проплыв мили полторы, мы очутились в таком густом тумане, что потеряли из виду берег и стали грести наугад; проработав веслами весь день и всю ночь, мы с наступлением утра увидели кругом открытое море, ибо, вместо того чтобы держаться ближе к берегу, мы отошли от него по меньшей мере на шесть миль. В конце концов мы с огромным трудом и не без риска добрались домой, так как с утра задул довольно крепкий ветер, и к тому же мы изнемогали от голода.

Наученный этим приключением, мой хозяин решил впредь быть осмотрительнее и объявил, что больше никогда не выйдет на рыбную ловлю без компаса и без запаса провизии. После захвата нашего английского корабля он оставил себе баркас и теперь приказал своему корабельному плотнику, тоже невольнику-англичанину, построить на этом баркасе в средней его части небольшую рубку, или каюту, как на барже. Позади рубки хозяин велел оставить место для одного человека, который будет править рулем и управлять гротом, а впереди – для двоих, чтобы крепить и убирать остальные паруса, из коих кливер находился над крышей каютки. Каютка получилась низенькая, очень уютная и настолько просторная, что в ней можно было спать троим и поместить стол и шкафчики для хранения хлеба, риса, кофе и бутылок с теми напитками, какие он считал наиболее подходящими для морских путешествий.

Мы часто ходили за рыбой на этом баркасе, и так как я стал искуснейшим рыболовом, то хозяин никогда не выезжал без меня. Однажды он задумал выйти в море (за рыбой или просто прокатиться – уж не могу сказать) с двумя-тремя маврами, надо полагать, важными персонами, для которых он особенно постарался, заготовил провизии больше обычного и еще с вечера отослал ее на баркас. Кроме того, он приказал мне взять у него на судне три ружья с необходимым количеством пороха и зарядов, так как, помимо ловли рыбы, им хотелось еще поохотиться на птиц.

Я сделал все, как он велел, и на другой день с утра ждал его на баркасе, чисто вымытом и совершенно готовом к приему гостей, с поднятыми вымпелами и флагом. Однако хозяин пришел один и сказал, что его гости отложили поездку из-за какого-то непредвиденного дела. Затем он приказал нам троим – мне, мальчику и мавру – идти, как всегда, на взморье за рыбой, так как его друзья будут у него ужинать, и потому, как только мы наловим рыбы, я должен принести ее к нему домой. Я повиновался.

Вот тут-то у меня блеснула опять моя давнишняя мысль о побеге. Теперь в моем распоряжении было маленькое судно, и как только хозяин ушел, я стал готовиться, но не для рыбной ловли, а в дальнюю дорогу, хотя не только не знал, но даже и не думал о том, куда я направляю свой путь: всякая дорога была для меня хороша, лишь бы уйти из неволи.

Первым моим ухищрением было внушить мавру, что нам необходимо запастись едой, так как нам не пристало пользоваться припасами для хозяйских гостей. Он ответил, что это справедливо, и притащил на баркас большую корзину с сухарями и три кувшина пресной воды. Я знал, где стоит у хозяина погребец с винами (судя по виду – добыча с какого-нибудь английского корабля), и покуда мавр был на берегу, я переправил погребец на баркас, как будто он

был еще раньше приготовлен для хозяина. Кроме того, я принес большой кусок воску, фунтов в пятьдесят весом, да прихватил моток бечевки, топор, пилу и молоток. Все это очень нам пригодилось впоследствии, особенно воск, из которого мы делали свечи. Я пустил в ход еще и другую хитрость, на которую мавр тоже попался по простоте душевной. Его имя было Измаил, но все его звали Мали или Мули. Вот и я сказал ему:

– Мали, у нас на баркасе есть хозяйские ружья. Что, если б ты добыл немножко пороху и дробь? Может быть, нам удалось бы подстрелить себе на обед несколько альками (птица вроде нашего кулика). Хозяин держит порох и дробь на корабле, я знаю.

– Хорошо, я принесу, – сказал он и притащил большой кожаный мешок с порохом (фунта в полтора весом, если не больше) да другой с дробью, фунтов в пять или шесть. Он захватил также и пули. Все это мы отнесли на баркас. Кроме того, в хозяйской каюте нашлось еще немного пороху, который я пересыпал в одну из стоявших в ящике почти пустую бутылку, перелив из нее остатки вина в другую. Таким образом мы запаслись всем необходимым для путешествия и вышли из гавани на рыбную ловлю. В сторожевой башне, что стоит у входа в гавань, знали, кто мы такие, и наше судно не привлекло внимания. Отойдя от берега не больше как на милю, мы убрали парус и стали готовиться к ловле. Ветер был северо-северо-восточный, что не отвечало моим планам, потому что, дуй он с юга, я мог бы наверняка доплыть до испанских берегов, по крайней мере до Кадикса; но откуда бы он ни дул, я твердо решил одно: убраться подальше от этого ужасного места, а потом будь что будет.

Понудив некоторое время и ничего не поймав, я нарочно не вытаскивал удочки, когда у меня рыба клевала, чтобы мавр ничего не видел, – я сказал:

– Тут у нас дело не пойдет; хозяин не поблагодарит нас за такой улов. Надо отойти подальше.

Не подозревая подвоха, мавр согласился и поставил паруса, так как он был на носу баркаса. Я сел за руль и, когда баркас отошел еще мили на три в открытое море, лег в дрейф как будто затем, чтобы приступить к рыбной ловле. Затем, передав мальчику руль, я подошел к мавру сзади, нагнулся, словно рассматривая что-то под ногами, вдруг обхватил его, поднял и швырнул за борт. Мавр мгновенно вынырнул, ибо плавал как пробка, и стал умолять, чтобы я взял его на баркас, клянясь, что поедет со мной хоть на край света. Он плыл так быстро, что догнал бы лодку очень скоро, тем более что ветра почти не было. Тогда я бросился в каюту, схватил охотничье ружье и, направив на него дуло, крикнул, что не желаю ему зла и не сделаю ему ничего дурного, если он оставит меня в покое.

– Ты хорошо плаваешь, – продолжал я, – на море тихо, и тебе ничего не стоит доплыть до берега; я тебя не трону; но только попробуй подплыть близко к баркасу, и я мигом прострелю тебе череп, потому что твердо решил вернуть себе свободу.

Тогда он повернул к берегу и, несомненно, доплыл до него без особого труда – пловец он был отличный.

Конечно, я мог бы бросить в море мальчика, а мавра взять с собою, но довериться ему было бы опасно. Когда он отплыл достаточно далеко, я повернулся к мальчику – его звали Ксури – и сказал:

– Ксури! Если ты будешь мне верен, я сделаю тебя большим человеком, но если ты не погладишь своего лица в знак того, что не изменишь мне, то есть не поклянешься бородой Магомета и его отца, я и тебя брошу в море.

Мальчик улыбнулся, глядя мне прямо в глаза, и отвечал так чистосердечно, что я не мог не поверить ему. Он поклялся, что будет мне верен и поедет со мной на край света.

Пока плывущий мавр не скрылся из вида, я держал прямо в открытое море, лавируя против ветра. Я делал это нарочно, чтобы показать, будто мы идем к Гибралтарскому проливу (как, очевидно, и подумал бы каждый здравомыслящий человек). В самом деле, можно ли было предположить, что мы намерены направиться на юг, к тем поистине варварским берегам, где

целые полчища негров со своими челноками окружили и убили бы нас; где, стоило только ступить на землю, нас растерзали бы хищные звери или еще более кровожадные дикие существа в человеческом образе?



Но как только стало смеркаться, я изменил курс и стал править на юг, уклоняясь слегка к востоку, чтобы не слишком удалиться от берегов. Благодаря довольно свежему ветерку и спокойствию на море мы шли таким хорошим ходом, что на другой день в три часа пополудни, когда впереди в первый раз показалась земля, мы были не менее чем на полтора ста миль южнее Сале, далеко за пределами владений марокканского султана, да и всякого другого из тамошних владык, потому что людей вообще не было видно.

Однако я набрался такого страха у мавров и так боялся снова попасться им в руки, что, пользуясь благоприятным ветром, целых пять дней плыл не останавливаясь, не приставая к берегу и не бросая якоря. Через пять дней ветер переменился на южный, и, по моим соображениям, если за нами и была погоня, то к этому времени преследователи уже должны были от нее

отказаться, поэтому я решился подойти к берегу и стал на якорь в устье какой-то маленькой речки. Какая это была речка и где она протекала, в какой стране, у какого народа и под какой широтой, я не имел понятия. Я не видал людей на берегу, да и не стремился увидеть; главное для меня было – запастись пресной водой. Мы вошли в эту речку под вечер и решили, когда стемнеет, добраться до берега и осмотреть местность. Но как только стемнело, мы услышали с берега такие ужасные звуки, такой неистовый рев, лай и вой неведомых диких зверей, что бедный мальчик чуть не умер со страху и молил меня не сходить на берег до наступления дня.

– Хорошо, Ксури, – сказал я, – но, быть может, днем мы там увидим людей, которые для нас, пожалуй, опаснее, чем эти львы.

– А мы бух-бух из ружья, – сказал он со смехом, – они и убегут.

От невольников-англичан Ксури научился говорить на ломаном английском языке. Я был рад, что мальчик так весел, и, чтобы поддержать в нем эту бодрость духа, дал ему глоток вина из хозяйских запасов. Совет его, в сущности, был недурен, и я последовал ему. Мы бросили якорь и простояли всю ночь притаившись. Я говорю – притаившись, потому что мы ни минуты не спали. Часа через два-три, после того как мы бросили якорь, мы увидали на берегу огромных животных (каких – мы и сами не знали); они подходили к самому берегу, бросались в воду, плескались и барахтались, очевидно, чтобы освежиться, и при этом отвратительно визжали, ревели и выли; я в жизни не слыхал ничего подобного.

Ксури был страшно напуган, да, правду сказать, и я тоже. Но еще больше испугались мы оба, когда услышали, что одно из этих страшилищ плывет к нашему баркасу; мы не видели его, но по тому, как оно отдувалось и фыркало, могли заключить, что это было свирепое животное чудовищных размеров. Ксури решил, что это лев (быть может, так оно и было, по крайней мере я не уверен в противном), и крикнул, что надо поднять якорь и уйти отсюда.

– Нет, Ксури, – отвечал я, – незачем поднимать якорь; мы только вытравим канат подлиннее и выйдем в море; туда они за нами не погонятся. – Но не успел я это сказать, как увидел неизвестного зверя на расстоянии каких-нибудь двух весел от баркаса. Признаюсь, я немного оторопел, однако сейчас же схватил в каюте ружье, и как только я выстрелил, животное повернуло назад и поплыло к берегу.

Невозможно описать, что за адский рев, вопли и завывания поднялись на берегу и дальше, в глубине материка, когда раздался мой выстрел. Это давало мне некоторое основание предположить, что здешние звери никогда не слыхали такого звука. Я окончательно убедился, что нам и думать нечего о высадке на берег ночью, но вряд ли возможно будет высадиться и днем: попасть в руки какого-нибудь дикаря не лучше, чем попасться в когти льву или тигру; по крайней мере эта опасность пугала нас несколько не меньше.

Тем не менее здесь или в другом месте, но нам необходимо было сойти на берег, ибо у нас не оставалось ни пинты¹ воды. Но опять загвоздка была в том, где и как высадиться. Ксури объявил, что, если я его пушу на берег с кувшином, он постарается разыскать и принести пресную воду. А когда я спросил его, отчего же идти ему, а не мне и отчего ему не остаться в лодке, в ответе мальчика было столько глубокого чувства, что он подкупил меня навеки.

– Коли там дикие люди, – сказал он, – они меня скушать, а ты уплывать.

– Тогда вот что, Ксури, – сказал я, – отправимся вместе, а если там дикие люди, мы уьем их, и они не съедят ни тебя, ни меня.

Я дал мальчику поест сухарей и выпить глоток вина из хозяйского запаса, о котором я уже говорил; затем мы подтянулись поближе к земле и, соскочив в воду, направились к берегу вброд, не взяв с собой ничего, кроме оружия да двух кувшинов для воды.

Я не хотел удаляться от берега, чтобы не терять из виду баркаса, опасаясь, как бы вниз по реке к нам не спустились дикари в своих пирогах; но Ксури, заметив низинку на расстоянии

¹ Пинта – немного более полубутылки.

приблизительно одной мили от берега, зашагал туда с кувшином. Вскоре я увидел, что он бежит назад. Подумав, что за ним гонятся дикари либо он испугался хищного зверя, я бросился к нему на помощь, но, подбежав ближе, увидел, что на плечах у него что-то лежит. Оказалось, он убил какого-то зверька вроде нашего зайца, но иной окраски и с более длинными ногами. Мы оба радовались такой удаче, и мясо убитого животного оказалось очень вкусным; но еще больше я обрадовался, услышав от Ксури, что он нашел хорошую пресную воду и не встретил диких людей.

Потом оказалось, что наши чрезмерные хлопоты о воде были напрасны: в той самой речке, где мы стояли, только немного повыше, куда не достигал прилив, вода была совершенно пресная, и мы, наполнив кувшины, устроили пиршество из убитого зайца и приготовились продолжать путь, так и не обнаружив в этой местности никаких следов человека.

Я уже побывал однажды в этих местах, и мне было хорошо известно, что Канарские острова и острова Зеленого Мыса отстоят недалеко от материка. Но теперь у меня не было с собой приборов для наблюдений, и, следовательно, я не мог определить, на какой широте мы находимся; к тому же я не знал в точности или, во всяком случае, не помнил, на какой широте лежат эти острова, поэтому неизвестно было, где их искать и когда следует свернуть в открытое море, чтобы приплыть к ним; знай я это, мне было бы нетрудно добраться до какого-нибудь из островов. Но я надеялся, что если я буду держаться вдоль берега, покамест не дойду до той части страны, где англичане ведут береговую торговлю, то я, по всей вероятности, встречу какое-нибудь английское купеческое судно, совершающее свой обычный рейс, и оно нас подберет.

По всем своим расчетам, мы находились теперь против береговой полосы, что тянется между владениями марокканского султана и землями негров. Это пустынная, безлюдная область, где обитают одни только дикие звери: негры, боясь мавров, покинули ее и ушли дальше на юг, а мавры нашли невыгодным заселять эти бесплодные земли; вернее же, что тех или других распугали тигры, львы, леопарды и прочие хищники, которые водятся здесь в несметном количестве. Таким образом, для мавров эта область служит только местом охоты, на которую они отправляются целыми армиями, по две, по три тысячи человек. Неудивительно поэтому, что на протяжении чуть ли не ста миль мы видели днем лишь безлюдную пустыню, а ночью не слышали ничего, кроме воя и рева диких зверей.

Два раза в дневную пору мне показалось, что я вижу вдаль Тенерифский пик – высочайшую вершину горы Тенерифе, что на Канарских островах. Я даже пробовал сворачивать в море в надежде добраться туда, но оба раза противный ветер и сильное волнение, опасное для моего утлого суденышка, принуждали меня повернуть назад, так что в конце концов я решил не отступать более от моего первоначального плана и держаться вдоль берегов.

После того как мы вышли из устья речки, нам еще несколько раз пришлось приставать к берегу для пополнения запасов пресной воды. Однажды ранним утром мы стали на якорь под защитой довольно высокого мыса; прилив только еще начинался, и мы ждали полной его силы, чтобы подойти ближе к берегу. Вдруг Ксури, у которого, видно, глаза были зорче моих, тихонько окликнул меня и сказал, что нам лучше бы отойти от берега подальше.

– Глянь, какое страшилище вон там на пригорке крепко спит.

Я взглянул, куда он показывал, и действительно увидел страшилище. Это был огромной величины лев, лежавший на скате берега в тени нависшей скалы.

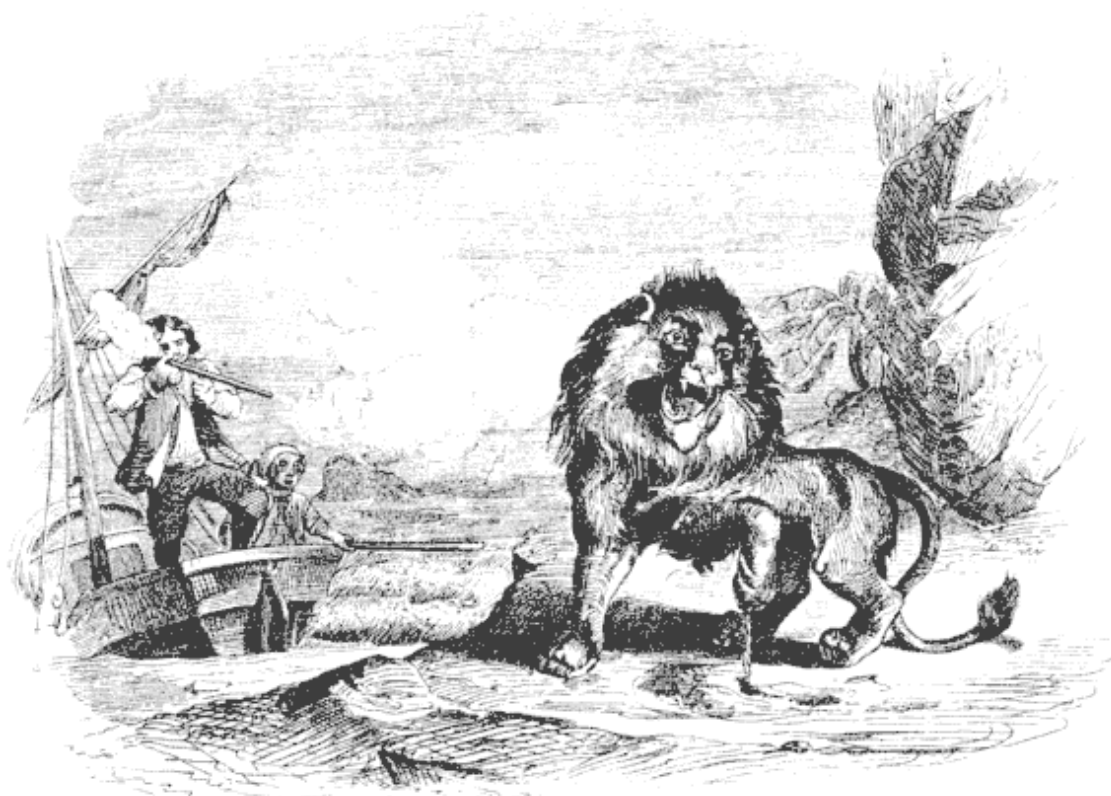
– Ксури, – сказал я, – ступай на берег и убей его.

Мальчик испугался.

– Я его убить? – проговорил он. – Он меня съест одной глоткой. – Он хотел сказать – одним глотком.

Я не стал возражать, велел только не шевелиться, и, взяв самое большое ружье, по калибру почти равнявшееся мушкету, зарядил его двумя кусками свинца и порядочным количеством пороху; в другое я вкатил две большие пули, а в третье (у нас было три ружья) – пять

пуль поменьше. Взяв первое ружье и хорошенько прицелившись зверю в голову, я выстрелил; но он лежал, прикрыв морду лапой, и заряд попал ему в переднюю лапу и перебил кость выше колена. Зверь с рычанием вскочил, но, почувствовав боль, сейчас же свалился, потом опять поднялся на трех лапах и испустил такой ужасный рев, какого я в жизни своей не слышал. Я был немного удивлен тем, что не попал в голову, однако, не медля ни минуты, взял второе ружье и выстрелил зверю вдогонку, так как он заковылял быстро прочь от берега; на этот раз заряд попал прямо в цель. Я с удовольствием увидел, как лев упал и, издавая какие-то слабые звуки, начал корчиться в борьбе со смертью. Тут Ксури набрался храбрости и стал проситься на берег.



– Ладно, ступай, – сказал я.

Мальчик прыгнул в воду и поплыл к берегу, работая одной рукой и держа в другой ружье. Подойдя вплотную к распростертому зверю, он приставил дуло ружья к его уху и выстрелил, прикончив зверя.

Дичь была знатная, но несъедобная, и я очень жалел, что мы истратили даром три заряда. Но Ксури объявил, что он поживится кое-чем от убитого льва, и когда мы вернулись на баркас, попросил у меня топор.

– Зачем тебе топор? – спросил я.

– Отрубить ему голову, – ответил Ксури. Однако головы отрубить он не смог, а отрубил только лапу, которую и притащил с собой. Она была чудовищных размеров.

Тут мне пришло в голову, что, может быть, нам пригодится шкура льва, и я решил попытаться снять ее. Мы с Ксури подошли ко льву, но я не знал, как взяться за дело. Ксури оказался гораздо ловчее меня. Эта работа заняла у нас целый день. Наконец шкура была снята; мы растянули ее на крыше нашей каютки; дня через два солнце как следует просушило ее, и впоследствии она служила мне постелью.

После этой остановки мы еще дней десять – двенадцать продолжали держать курс на юг, стараясь как можно экономнее расходовать наши запасы, начинавшие быстро таять, и сходили на берег только за пресной водой. Я хотел дойти до устьев Гамбии или Сенегала, иначе говоря, приблизиться к Зеленому Мысу, где надеялся встретить какое-нибудь европейское судно: я знал, что, если этого не случится, мне останется либо блуждать в поисках островов, либо погибнуть здесь среди негров. Мне было известно, что все европейские суда, куда бы они ни направлялись – к берегам ли Гвинеи, в Бразилию или в Ост-Индию, – проходят мимо Зеленого Мыса или островов того же названия; словом, я поставил всю свою судьбу на эту карту, понимая, что либо я встречу европейское судно, либо погибну.

Итак, еще дней десять я продолжал стремиться к этой единственной цели. Постепенно я стал замечать, что побережье обитаемо: в двух-трех местах, проплывая мимо, мы видели на берегу людей, которые глазели на нас. Мы могли также различить, что они были черные как смоль и совсем голые. Один раз я хотел было сойти к ним на берег, но Ксури, мой мудрый советчик, сказал: «Не ходи, не ходи». Тем не менее я стал держать ближе к берегу, чтобы можно было вступить с ними в разговор. Они, должно быть, поняли мое намерение и долго бежали вдоль берега за нашим баркасом. Я заметил, что они не были вооружены, кроме одного, державшего в руке длинную тонкую палку. Ксури сказал мне, что это копье и что дикари мечут копья очень далеко и замечательно метко; поэтому я держался в некотором отдалении от них и, как умел, объяснялся с ними знаками, стараясь главным образом дать им понять, что мы нуждаемся в пище. Они знаками показали мне, чтобы я остановил лодку и что они принесут нам мяса. Как только я спустил парус и лег в дрейф, двое чернокожих побежали куда-то и через полчаса или того меньше принесли два куска вяленого мяса и немного зерна какого-то местного злака. Мы не знали, что это было за мясо и что за зерно, однако изъявили полную готовность принять и то и другое. Но тут мы стали в тупик: как получить все это? Мы не решались сойти на берег, боясь дикарей, а они, в свою очередь, боялись нас несколько не меньше. Наконец они придумали выход из этого затруднения, одинаково безопасный для обеих сторон: сложив на берегу зерно и мясо, они отошли подальше и стояли неподвижно, пока мы не переправили все это на баркас, а затем воротились на прежнее место.

Мы благодарили их знаками, потому что больше нам было нечем отблагодарить. Но в ту же минуту нам представился случай оказать им большую услугу. Мы еще стояли у берега, как вдруг со стороны гор выбежали два огромных зверя и бросились к морю. Один из них, как нам показалось, гнался за другим: был ли это самец, преследовавший самку, играли ли они между собою или грызлись, мы не могли разобрать, как не могли бы сказать и того, было ли это обычное явление в тех местах или исключительный случай; я думаю, впрочем, что последнее было вернее, так как, во-первых, хищные звери редко показываются днем, а во-вторых, мы заметили, что люди на берегу, особенно женщины, сильно перепугались... Только человек, державший копье или дротик, остался на месте; остальные пустились бежать. Но звери мчались прямо к морю и не намеревались нападать на негров. Они бросились в воду и стали плавать, словно купание было единственной целью их появления. Вдруг один из них подплыл довольно близко к баркасу. Я этого не ожидал; тем не менее, зарядив поскорее ружье и приказав Ксури зарядить оба других, я приготовился встретить хищника. Как только он приблизился на расстояние ружейного выстрела, я спустил курок, и пуля попала ему прямо в голову; он мгновенно погрузился в воду, потом вынырнул и поплыл назад к берегу, то исчезая под водой, то снова появляясь на поверхности. Видимо, он был в агонии – он захлебывался водой и кровью из смертельной раны и, не доплыв немного до берега, околел.

Невозможно передать, сколь поражены были бедные дикари, когда услышали треск и увидели огонь ружейного выстрела; некоторые из них едва не умерли со страху и упали на землю, точно мертвые. Но, видя, что зверь пошел ко дну и что я делаю им знаки подойти ближе, они ободрились и вошли в воду, чтобы вытащить убитого зверя. Я нашел его по кровавым

пятнам на воде и, закинув на него веревку, перебросил конец ее неграм, а те притянули ее к берегу. Животное оказалось леопардом редкой породы с пятнистой шкурой необычайной красоты. Негры, стоя над ним, воздевали вверх руки в изумлении; они не могли понять, чем я его убил.

Второй зверь, испуганный огнем и треском моего выстрела, выскочил на берег и убежал в горы; за дальностью расстояния я не мог разобрать, что это был за зверь. Между тем я понял, что неграм хочется поесть мяса убитого леопарда; я охотно оставил его им в дар и показал знаками, что они могут взять его себе. Они всячески выражали свою благодарность и, не теряя времени, принялись за работу. Хотя ножей у них не было, однако, действуя заостренными кусочками дерева, они сняли шкуру с мертвого зверя так быстро и ловко, как мы не сделали бы этого и ножом. Они предложили мне мясо, но я отказался, объяснив знаками, что отдаю его им, и попросил только шкуру, которую они мне отдали весьма охотно. Кроме того, они принесли для меня новый запас провизии, гораздо больше прежнего, и я его взял, хоть и не знал, какие это были припасы. Затем я знаками попросил у них воды, протянув один из наших кувшинов, я опрокинул его кверху дном, чтобы показать, что он пуст и что его надо наполнить. Они сейчас же прокричали что-то своим. Немного погодя появились две женщины с большим сосудом воды из обожженной (должно быть, на солнце) глины и оставили его на берегу, как и провизию. Я отправил Ксури со всеми нашими кувшинами, и он наполнил водой все три. Женщины были совершенно голые, как и мужчины.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.